



Валентин
РАСПУТИН

УРОКИ
французского

Издательство АСТ
Москва
2026

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р24

Серийное оформление и дизайн обложки
О. Жуковой

Распутин, Валентин Григорьевич.

Р24 Уроки французского / Валентин Распутин. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 128 с. — (Лучшая школьная классика).

ISBN 978-5-17-186144-5

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) — русский писатель, публицист, один из самых ярких представителей «деревенской прозы». Его творчество отличается пристальным вниманием к нравственным основам человеческой жизни и к тому, как они меняются под давлением системы, цивилизации. В героях Распутина читателя привлекает простота и духовная сила людей, сохраняющих внутреннюю чистоту в суровых жизненных условиях. Язык произведений писателя всегда суров и точен, он сочетает в себе строгую классическую форму и живую разговорную стихию.

Сборник объединяет знаковые произведения автора, посвящённые самому важному периоду в жизни человека — поре взросления и нравственного самоопределения. Мир взрослых в них показан через призму детского, ещё наивного восприятия, полного тревог, надежд и искренних вопросов. Формирование души ребёнка, подростка, юноши происходит через тяжёлые уроки столкновения с реальностью, переживания несправедливости и выбора милосердия.

Каждый из рассказов — это пронзительная история о доброте и самопожертвовании, попытке найти смысл в происходящем, об осознании ответственности за свои поступки, за свои слова — сказанные или несказанные.

Проза Распутина — это настоящие «уроки совести», делающие простые по фабуле, частные истории мощными гуманистическими высказываниями.

Она позволяет понять ценность искренних чувств и учит сопереживанию, которое остаётся с человеком на всю жизнь.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-186144-5

© Распутин В. Г., насл., 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Анастасии Прокопьевне Копыловой

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что случилось с нами после.

* * *

Я пошёл в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у неё, а в последний день августа дядя Ваня, шофёр единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь. Голод в тот год ещё не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестрёнку глазки... проросшей картошки и зёрна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придётся

всё время думать о еде. Всё лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь ещё пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от неё невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагрёб мне ведро картошки — под весну это было немалое богатство.

И всё потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

— Башковитый у тебя парень растёт. Ты это... давай учи его. Грамота зря не пропадёт.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе

не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — за тем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятёрки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало всё моё ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Всё было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, всё время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне.

Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! — хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с рёвом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и её, — я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.

— Собирайся, — потребовала она, когда я подошёл. — Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же ещё я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне её не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут — кажется, много,хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тётя Надя ли, крикливая замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из её старших девчонок или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестрёнки с братишкой,

а оно всё равно идёт мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня всё вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трёх маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почём продают, давился слюной и шёл ни с чем обратно. На плите у тёти Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой всё равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

Однажды, ещё в сентябре, Федька спросил у меня:

— Ты в «чику» играть не боишься?

— В какую «чику»? — не понял я.

— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдём сыграем.

— Нету.

— И у меня нету. Пойдём так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повёл меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего

крапивой, уже чёрной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей чёлкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого ещё зачем привёл? — недовольно сказал он Федьке.

— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живёт.

— Играть будешь? — спросил меня Вадик.

— Денег нету.

— Гляди не вякни кому, что мы здесь.

— Вот ещё! — обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошёл в сторонку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать её надо было с тем расчётом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за неё, — тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били всё той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важнее всего считалось ещё при

броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шёл к валуну после всех, когда полная картина очерёдности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперёд. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся — шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую чёлку наверх, небрежно сплёвывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в неё до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь.

Откуда им в колхозе взяться? Всё же раза два она подкладывала мне в письмо по пятёрке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек; не разживёшься, но всё равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятёрку в третий раз, я не пошёл за молоком, а разменял её на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй — шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадёт и сколько ещё прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла тёплая и сухая. Ещё и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесёнными откуда-то из непогоды слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-лет-

нему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурмящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморённая, всё же оставалась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибежал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперёд, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился в наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверное, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазёнками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает — всё равно тянет. Вызовут — молчит.

— Что ж ты руку поднимал? — спрашивают Тишкина.

— Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда ещё не сошёлся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один,